

Сказки Гауфа. Молодой англичанин (Как обезьяну принимали за человека)

Господин мой! Я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало, вот почему я не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать о том, что случилось у меня на родине, – может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши, в них рассказывается не о султанах или наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде, нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если только не повествуют о солдатах.

В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади – дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, где что творится, и когда у пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всем. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами – как принято говорить у нас – и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие, а в результате выясняют, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра «подмазали» или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже.

Вы можете себе представить, о господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был проезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда,

видел его паспорт – бумажку, которую у нас всякий обязан иметь при себе.

– Неужто у вас на улицах так неспокойно, – прервал невольника шейх, – что вам необходимо иметь при себе фирман[*] от своего султана, дабы внушать почтение разбойникам?

– Нет, господин, – ответил тот, – этими бумажками не отпугнешь злоумышленника; заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело. Так вот, бургомистр изучил паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение: хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, все же за этим что-то кроется, вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением, – чему ж удивляться, если с тех пор на приезжего стали смотреть косо, как на лицо подозрительное! А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан.

Приезжий снял за несколько золотых дом, до того пустовавший, привез туда целую фуру со странной утварью – печками, горнами, большими тиглями и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал на себя сам, у него не бывало ни души, за исключением одного грюнвизельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки.

Я был десятилетним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру прочих мужчин, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как другие, выкурить трубку и потолковать о том, что пишут в газетах. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе; он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его ненормальным, другие – евреем, третьи упорно и настойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет – и все еще этого человека называли у нас «приезжим».

Вот как-то случилось, что в город к нам пришли люди с

заморскими зверями. Такие бродячие комедианты, с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, потешными, наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, обученными разным штукам, проходят обычно по городу, останавливаются на перекрестках и площадях, извлекают из дудочки и барабана весьма неблагозвучную музыку, под которую их труппа пляшет и прыгает, а затем собирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и вытворявшим всякие забавные кунштыки.

Собачья и обезьянья труппа очутилась также и перед домом приезжего господина. Вначале, когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через потускневшее от времени окно. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом.

Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно сидели собаки и обезьяны, а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почтовую станцию и, к великому удивлению станционного смотрителя, спешно потребовал карету и почтовых лошадей, выехал через те же ворота и двинулся по тому же тракту, что и звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился.

Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же городским воротам. В карете сидел еще кто-то, надвинув шляпу на самый лоб, а уши и рот повязав шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт; но тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке.

– Это мой племянник, – вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет, – это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки.

– Ну, ежели это племянник вашей милости, – ответил писарь, –

то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?

– Разумеется, – сказал приезжий, – и, должно быть, пробудет здесь сравнительно долго.

У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город досадовали на писаря.

Мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами какой страны были они с дядей. Писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски, речь его звучала как-то растянуто, и, если он не ошибается, молодой человек сказал: «Goddam!»[**] Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести национальность. Теперь в городишке только и разговору было что о молодом англичанине.

Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбане, ни в пивном погребе; зато он, правда другим способом, давал много пищи людским толкам. Так, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня, вот почему люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин, в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а дядюшка-приезжий в красном шлафроке гонялся за ним с арапником; чаще всего он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу, они слышали жалобные, испуганные стоны и шелканье кнута. Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и в конце концов упростили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, буде такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою защиту.

Но каково было удивление бургомистра, когда, впервые за десять лет, у него в доме появился приезжий господин! Он оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него

родителями юноши, которые поручили ему его воспитание; в общем, это умный, смысленный мальчик, уверял он, но языки даются ему с большим трудом; он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество; между тем язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. «Жаль только, что он так мало бывает в обществе, – прибавлял он, – но как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он, я полагаю, будет часто посещать мои журфиксы».

Этого было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. О приезде теперь отзывались как о человеке учтивом, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он преподает племяннику немецкий язык», – говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца обучение немецкому языку как будто закончилось: дядюшка принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но, что касается танцев, несколько своеволен; он уже брал уроки у другого танцмейстера, и тот обучил его таким рискованным антраша, что выступать с ними в обществе неудобно; племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом (это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине), нет даже сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, приезжий обещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши.

Француз уверял потом «по секрету», что не видел ничего более необычного, чем эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй, только несколько коротконогий, всегда являлся на урок тщательно завитой, в красном фраке, широких

зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом; сначала бывал довольно благонравен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие пируэты и выкидывал такие антраша, что танцмейстер терял голову; когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запуская ими французу прямо в голову и принимался прыгать по всей комнате на четвереньках. На шум прибежал из спальни старик дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил племянника арапником по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы и говорил на чужом, непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, лупил что есть мочи и пряжкой стягивал ему потуже шейный платок, после чего племянник каждый раз становился благонравным и чинным, и урок танцев продолжался без новых помех.

Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили скрипача из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, для чего дядюшка нарядил его в шелковую юбку и индийскую шаль; племянник приглашал его и принимался с ним танцевать и вальсировать; а танцором он был неутомимым, рьяным, он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы тот ни охал и ни кричал, и танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть не свели в могилу, но талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал его приезжий, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступить порог безлюдного дома.

Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывали большой недостаток в кавалерах и посему радовались, что к зимнему сезону получат такого лихого танцора.

Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысаками, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда: один был старик приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек, с таким трудом научившийся немецкому языку и такой рьяный танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета – вы только представьте себе! – покатила прямо к бургомистрову дому.

Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя не отличавшиеся безупречной чистотой кухонные передники и чепцы и привели себя в надлежащий вид. «Совершенно ясно, – говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, – совершенно ясно, что приезжий решил вывезти племянника в свет. Старый дурак за десять лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме; но ради племянника, как говорят, молодого человека с большим шармом, ему можно это простить». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали, – всех по очереди объезжали дядюшка с племянником, стараясь снискать благоволение каждого семейства. Всюду только и разговору было что о них, и все жалели, что не приобрели уже раньше столь приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, правда, разговаривая, он улыбался, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а разговаривал он о погоде, о нашей местности, о приятности в летнюю пору погребка на горе, – говорил так разумно и рассудительно, что грюнвизельцы были очарованы. О племяннике и говорить нечего! Он очаровал всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, с лица его нельзя было назвать красивым; подбородок и особенно нижняя челюсть слишком выдавались вперед, и цвет лица был чересчур смугл, да еще он подчас корчил уморительные рожи, закрывал

глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все ему замечательно шло; он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги; но то, что у другого молодого человека сочли бы нарушением хорошего тона и в высшей степени вульгарным, в данном случае признавали гениальностью. «Он англичанин, – говорили окружающие, – а они все таковы: англичанин может растянуться на канапе и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него; на англичанина за это нельзя сердиться». А старика дядю он слушался беспрекословно: достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался вприпрыжку по комнате или втягивал ноги на стул, что делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество: оно его отшлифует и образует как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно».

Итак, племянника вывезли в свет. И в этот и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было что об этом событии. Но дядюшка на том не остановился; казалось, он совершенно переменял и образ мыслей, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать.

Племянник играл мастерски – он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей зараз; правда, время от времени на него как будто что накатывало: вдруг ни с того ни с сего сорвется вслед за шаром и учинит среди кеглей сущий погром, или, сшибив короля, станет на голову, не щадя своей изящно завитой прически, и дрыгает в воздухе ногами; в другой раз не успеешь и оглянуться, как он уже сидит на крыше проезжающей мимо кареты и строит оттуда рожи; проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу.

Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, дядюшка усердно извинялся перед бургомистром и прочими за озорство племянника;

они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством, и обожали «молодого повесу», как они его называли.

Случалось им и порядком на него сердиться, однако они не решались выражать свое недовольство, ведь молодой англичанин слыл за образец начитанного и разумного юноши. По вечерам старик с племянником хаживали и в местную гостиницу «У золотого оленя». Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, держал он себя стариком, усаживался за столик, надевал невероятные очки, вытаскивал длинную трубку, закуривал и дымил пуще всех.

А когда разговор заходил о том, что пишут в газетах, о войне и мире, и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познаниям, то племяннику могло вдруг прийти в голову проявить совершенно противоположное мнение; он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал совсем иное и понимает в этих делах гораздо больше.

Затем он выражал на странном ломаном немецком языке свое мнение, которое, к великой досаде бургомистра, все признавали совершенно правильным, ведь он же англичанин, как же ему не знать все гораздо лучше прочих.

Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход, говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока втайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы по всем правилам объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филидором, [***] то дядя потуже стягивал племяннику шейный платок, после чего тот становился послушным и чинным и делал бургомистру мат.

До тех пор грюнвизельцы чуть не каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию; племянник счел эту ставку

мизерной, стал ставить кроненталеры и дукаты, утверждал, будто никто не играет столь искусно, как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнеров. И они ни капли не совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит, богат от рождения», – говорили они и клали дукаты себе в карман.

Итак, племянник приезжего господина в скором времени стал пользоваться незаурядным уважением в городе и во всей округе. Старожилы не запомнили, чтобы в Грюнвизеле когда-нибудь видели подобного молодого человека; он был самым оригинальным явлением на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался, – разве только танцам. Латынь и греческий были для него, как принято говорить, китайской грамотой. Однажды во время какой-то игры в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию; в географии делал он самые удивительные ошибки: ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой, сокрушаясь о неведении молодого человека; тем не менее все, что он делал и говорил, находили прекрасным, а он был таким наглецом, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами: «Я это лучше знаю!»

Так подошла зима, вот тут-то слава племянника расцвела еще пуще.

Любую компанию без него считали скучной; когда разумный человек высказывал свое мнение, все зевали; когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек вдобавок еще и поэт: редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто одни его стихотворения плохи и бессмысленны, а другие они уже где-то читали в напечатанном виде; но племянник, нисколько не смущаясь, продолжал декламировать, а затем обращал общее внимание на красоту своих

стихов, и всякий раз имел шумный успех.

Но настоящим триумфом были для него грюнвизельские балы. Он не знал устали в танцах, никто не танцевал так быстро, как он, никто не проделывал столь рискованных и необыкновенно грациозных антраша. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что одет он прекрасно и очень к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены заведенным им новым порядком. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а затем распоряжаться танцами предоставлялось молодым людям из лучших семей; но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. Дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сане, в который возвел себя сам.

Казалось, дядюшке балы доставляли особое удовольствие: он глаз не спускал с племянника и все время тихонько посмеивался, а когда гости спешили к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, разражался веселым смехом и вел себя как безумный. Грюнвизельцы приписывали такие бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению: молодой человек во время изящнейшего танца мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук капельмейстера и отчаянно запиликать на нем; или он вдруг переворачивался и танцевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе.

Тогда дядя обычно отводил его в сторону, строго журил, ту же стягивал ему шейный платок, и племянник опять становился шелковым.

Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но, как это обычно бывает, дурные привычки прививаются куда легче хороших,

и в новой оригинальной моде, как бы она ни была нелепа, всегда есть что-то притягательное для молодежи, еще не задумывающейся над собой и жизнью. Так обстояло дело и в Грюнвизеле. Увидев, что племянника не бранят, а даже превозносят его нелепые манеры, неучтивый смех и болтовню, за грубые ответы старшим, что это даже находят гениальным, молодые люди решили: «Стать таким гениальным повесой не трудно». Прежде это были прилежные, дельные юноши; теперь они думали: «К чему ученость, когда невежество дает куда больше?» Они отложили в сторону книги и стали слоняться по улицам и площадям. Прежде они были учтивы и вежливы со всеми, дожидались, пока их не спросят, и отвечали пристойно и скромно, теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали свое мнение, смеялись в лицо самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают все лучше других. Прежде грюнвизельская молодежь терпеть не могла грубости и бессмысленного времяпрепровождения. Теперь молодые люди распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам. Они купили себе также большие очки, хотя видели отлично, нацепили их на нос, и считали себя взрослыми, потому что теперь уподобились хваленому племяннику. Дома и в гостях они растягивались в сапогах и шпорах на канаве, раскачивались на стуле в хорошем обществе или, подперев кулаками щеки, ставили локти на стол, что представляло весьма приятную картинку. Напрасно твердили им матери и друзья, сколь все это глупо, сколь неприлично, – они же ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно доказывали им, что племяннику как англичанину приходится прощать некоторую грубость, свойственную его нации, грюнвизельская молодежь утверждала, что не меньше любого англичанина имеет право быть невоспитанной на гениальный манер, – коротко говоря, жалко было смотреть, как, под влиянием дурного примера, совершенно исчезли в Грюнвизеле добрые нравы и обычаи.

Но недолго радовалась молодежь такой грубой, разгульной жизни. Следующее событие сразу все изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными

грюнвизельскими любителями музыки. Бургомистр превосходно играл на виолончели, а доктор на фаготе, аптекарь, хотя и не обладал настоящим дарованием, играл на флейте, несколько грюнвизельских девиц разучили арии, – словом, программа была составлена прекрасно. Но, по мнению приезжего, концерту такого рода, хотя и превосходному, явно недостает дуэта, потому что в каждом порядочном концерте необходим дуэт.

Эти слова вызвали некоторое замешательство: правда, дочь бургомистра пела, как соловей, но где раздобыть кавалера, который мог спеть с ней дуэт? В конце концов вспомнили о старом органисте, в свое время певшем роскошным басом, но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни, – его племянник превосходно поет. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши; ему пришлось спеть кое-что для пробы, и, если не считать некоторых странных повадок, которые сочли за английские, пел он, как ангел. Итак, спешно разучили дуэт, и вот наконец настал вечер, во время которого грюнвизельцам предстояло усладить свой слух концертом.

К сожалению, дядюшка заболел и не мог присутствовать при триумфе своего племянника, но он передал бургомистру, навестившему его за час до концерта, кое-какие распоряжения относительно своего питомца.

– Племянник мой – добрая душа, – сказал он, – но время от времени в голову ему приходят странные мысли, и тогда он ведет себя нелепо; именно поэтому я весьма сожалею, что не могу присутствовать на концерте, меня-то он побаивается, и сам знает почему! К чести его, я должен сказать, что эти проказы не духовного, а скорее физического порядка, они свойственны его природе; не будете ли вы, господин бургомистр, так любезны, если ему ни с того ни с сего взбредет на ум усесться на нотный пюпитр, или во что бы то ни стало провести смычком по контрабасу, или еще что-нибудь в том же роде, не соблаговолите ли вы несколько ослабить его шейный платок, а если и это не поможет, снимите платок вовсе. Вот увидите, каким он сразу станет послушным и чинным!

Бургомистр поблагодарил болящего за доверие и обещал, если

понадобится, поступить по его совету.

Зал был переполнен, на концерт явились не только грюнвизельцы, гости съехались со всей округи. Охотники, пасторы, чиновники, помещики и все прочие, живущие на расстоянии трех часов езды, прибыли с чадами и домочадцами, дабы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение. Музыканты из городского оркестра не ударили в грязь лицом; вслед за ними выступил бургомистр, исполнивший партию на виолончели под аккомпанемент аптекаря, который играл на флейте; после них органист с шумным успехом пропел басовую арию; немало также хлопали и доктору, который играл на фаготе.

Первое отделение закончилось, и все с нетерпением ждали второго, в котором молодой приезжий и бургомистрова дочь должны были исполнить дуэт.

Племянник явился в шикарном костюме и уже давно привлекал внимание присутствующих. Не долго думая, развалился он на великолепном кресле, предназначенном для некоей графини, проживающей по соседству, вытянул ноги и, не довольствуясь большими очками, рассматривал всех в невероятных размеров бинокль, да еще возился с огромным меделянским псом, которого захватил с собой, несмотря на запрещение вводить в зал собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, вошла в зал, но племянник и не подумал встать и уступить ей место, – наоборот, уселся еще удобнее, и никто не решился сделать молодому человеку замечание; а знатной даме пришлось сидеть на самом обыкновенном соломенном стуле среди прочих женщин нашего города, чем, как говорят, она осталась весьма недовольна.

Во время отменной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже во время фантазии, исполненной доктором на фаготе, когда все слушали, затаив дыхание, племянник приказывал собаке приносить ему носовой платок или громко болтал с соседями, так что те, кто его не знал, поражались странному поведению молодого человека.

Поэтому нет ничего удивительного, что все с любопытством ждали, как он исполнит дуэт. Началось второе отделение; музыканты городского оркестра сыграли небольшой номер, бургомистр в сопровождении дочки подошел к молодому человеку,

передал ему ноты и сказал:

– Мосье! Не угодно ли вам выступить в дуэте?

Молодой человек расхохотался, оскалил зубы, вскочил и вместе с ними последовал к пюпитру, а все общество замерло в ожидании. Капельмейстер взмахнул палочкой и кивнул племяннику, чтобы он начинал. А тот глянул сквозь свои большие очки на ноты и испустил отвратительные, жалкие звуки.

Капельмейстер крикнул ему:

– На два тона ниже, уважаемый! До, вам надо взять до!

Но, вместо того чтобы взять до, племянник снял с одной ноги ботинок и запустил им капельмейстеру в голову, да так, что взвилось облако пудры.

Увидя такое, бургомистр подумал: «Ах, вот опять нашли на него его причуды физической природы»; он подскочил, схватил его за шею и немножко ослабил его шейный платок, до теперь молодой человек разошелся пуще прежнего. Он запрыгал и заговорил, но не по-немецки, а на каком-то странном, никому не понятном языке. Бургомистр был в отчаянии от такой досадной помехи; он подумал, что с молодым человеком творится нечто совсем непонятное, и поэтому решил снять с него шейный платок. Но не успел он это сделать, как окаменел от ужаса; вместо человеческой кожи нормального цвета шея молодого человека была покрыта темно-коричневой шерстью, а сам он тут же запрыгал еще выше и чуднее, запустил свои лайковые перчатки в волосы, потянул, и – о, чудо! – его прекрасные волосы оказались париком, который он швырнул бургомистру в физиономию; теперь голова его предстала в новом виде – покрытая такой же коричневой шерстью, что и шея.

Он пустился вскачь по столам и скамьям, опрокинул пюпитры для нот, переломал скрипки и кларнеты и вел себя как безумный.

– Держи, держи его! – вне себя кричал бургомистр. – Он с ума сошел, держи его!

Но сделать это было не так-то просто, – он снял перчатки и показал когти, которыми пребольно царапался. Наконец одному отважному охотнику удалось с ним справиться. Он так сжал ему длинные руки, что теперь тот только дрыгал ногами и хохотал и кричал хриплым голосом. Вокруг толпилась публика и с

недоумением глядела на странного юношу, теперь уже совсем непохожего на человека. Но один проживавший по соседству ученый, у которого был настоящий музей предметов натуральной истории и целая коллекция чучел животных, подошел поближе, внимательно посмотрел на него и с удивлением воскликнул:

– Господи боже мой, милостивые государыни и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество? Да ведь это же обезьяна. Homo Troglodytes Linnaei. Уступите его мне, я тут же дам вам шесть талеров, сдери с него шкуру, и набью его чучело для своей коллекции.

Кто опишет удивление грюнвизельцев, когда они услышали эти слова!

«Как? Обезьяна, орангутанг в нашем обществе? Молодой приезжий просто-напросто обезьяна?» – восклицали они и глядели друг на друга, отупев от неожиданности. Они не могли понять, не могли поверить собственным глазам, мужчины подвергли его более тщательному осмотру. Но он как был, так и остался самой обыкновенной обезьяной.

– Но как же это возможно, – воскликнула бургомистерша, – ведь он же часто читал мне свои стихи! Ведь он не раз обедал у меня, как и прочие люди!

– Что? Как же так, ведь он пивал у меня кофе, часто и помногу и по-ученому разговаривал с моим мужем и курил? – всполошилась докторша.

– Как! Разве это возможно, – подхватили мужчины, – ведь он же катал с нами шары в кегельбане и спорил о политике, как нам подобный?

– Ну как же так! Ведь у нас на балах он вел танцы! – жаловались все. – Обезьяна! Обезьяна! Это чудеса, колдовство!

– Да, это колдовство и дьявольское наваждение, – сказал бургомистр, показывая шейный платок племянника, или, если хотите, обезьяны. – Глядите!

Это волшебный шарф, с его помощью он нас околдовал. В платок вшита широкая полоса эластичного пергамента, на которой выведены какие-то диковинные письмена. Мне даже сдается, будто это по-латыни. Кто-нибудь может прочитать?

Пастор, ученый человек, проигравший обезьяне не одну партию в

шахматы, поглядел на пергамент и сказал:

– Нет, только буквы латинские, а написано здесь:

Смешно смотреть, как обезьяна

За яблоко берется рьяно.

– Да, это адский обман, – продолжал он, – своего рода колдовство, и заслуживает примерного наказания.

Бургомистр был того же мнения и тотчас же отправился к приезжему, который, несомненно, был волшебником, а шесть полицейских несли обезьяну, собираясь тут же приступить к допросу.

В сопровождении несметной толпы подошли они к безлюдному дому, ведь всякому хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Принялись стучать в дверь, звонить в звонок, – все напрасно, никто не показывался. Тогда бургомистр, разозлившись, приказал высадить двери и отправился наверх, в дядюшкину спальню. Но там нашли только старую домашнюю утварь. Приезжего и след простыл. Но на его письменном столе лежало адресованное бургомистру большое припечатанное печатью письмо, которое тот тут же и вскрыл. Он прочитал:

«Милые грюнвизельцы!

Когда вы вскроете это письмо, меня уже не будет в вашем городке, а вам уже давно будет известно, какого роду-племени мой милый племянник.

Отнеситесь к шутке, которую я позволил себе сыграть с вами, как к хорошему уроку и впредь не навязывайте приезжему, желающему жить по-своему, ваше общество! Я знаю себе цену и потому не хотел вместе с вами погрязнуть в вечных сплетнях, усвоить ваши глупые обычаи и смешные манеры. Вот почему я и воспитал себе в заместители молодого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и используйте по мере сил сей урок».

Грюнвизельцам было очень стыдно перед всей округой. Утешались они только тем, что это случилось при помощи сверхъестественных сил; но больше других стыдилась грюнвизельская молодежь того, что переняла дурные привычки и

повадки обезьяны. Отныне они уже не клали локтей на стол, не качались на стуле, молчали, пока их не спросят; они сняли очки и стали по-прежнему вежливы и благонаравны, а если кому случалось снова вспомнить те нелепые манеры дурного тона, то грюнвизельцы говорили: «Вот так обезьяна!» А обезьяну, так долго игравшую роль молодого человека, сдали на руки тому ученому, у которого был кабинет предметов натуральной истории. Орангутанг и поныне разгуливает у него по двору; ученый кормит его и как диковинку показывает всякому гостю.

Когда невольник кончил, зала огласилась смехом, и юноши тоже смеялись вместе со всеми.

– Должно быть, странные люди эти франки, и, правду говоря, я предпочту жить здесь в Александрии с шейхом и муфтием, чем в Грюнвизеле в обществе пастора, бургомистра и их глупых жен!

– В этом ты прав, – подхватил молодой купец. – Не хотелось бы мне умереть в Франкистане. Франки – грубые, дикие варвары, и для образованного турка или перса жить среди них было бы очень тягостно.

– Об этом вы сейчас кое-что услышите, – пообещал старик. – Насколько я знаю от надсмотрщика над рабами, вон тот красивый юноша расскажет нам много о Франкистане, хотя по рождению он мусульманин, но прожил он там долго.

– Как? Вон тот, что сидит последним в ряду? Поистине, грех шейху отпускать его на волю! Это самый красивый раб во всем краю. Посмотрите, какое у него мужественное лицо, какой смелый взгляд, какая стройная стать.

Шейх мог бы повелеть не назначать его на тяжелую работу. Пусть отгоняет от шейха мух или подает ему трубку. Нести подобную службу – одно удовольствие; а такой невольник поистине украшение для дома. Он тут всего три дня, и шейх уже отпускает его? Это безумие, грех!

– Не осуждайте того, кто мудрей всех в Египте! – с особой выразительностью сказал старик. – Ведь я вам уже говорил, – он отпускает его на волю, думая заслужить тем милость Аллаха. Вы говорите – раб красив и статен, и это правда. Но сын шейха, – да возвратит его пророк в отчий дом! – сын шейха был красивым

мальчиком и теперь тоже вырос бы в высокого и статного юношу; что же, по-вашему, шейху следует приберечь деньги и отпустить на волю дешево стоящего скрюченного от старости раба, а самому рассчитывать получить за это обратно сына? Кто хочет что-либо сделать на этом свете, пусть делает это хорошо или не делает вовсе!

– Глядите-ка, шейх не спускает глаз с этого раба. Я уже давно это заметил. Слушая рассказчиков, он часто бросал в ту сторону взгляд и задерживал его на благородных чертах молодого раба, что будет сегодня отпущен на волю. Наверное, ему все-таки жалко отпускать его!

– Не думай так о шейхе! Ты полагаешь, ему жалко тысячи туманов, когда ежедневно он получает втрое больше! – сказал старик. – Верно, взгляд его с горестью покоится на молодом рабе потому, что шейху вспоминается сын, изнывающий на чужбине; он, верно, думает: быть может, там найдется сострадательный человек, который выкупит его и вернет отцу.

– Возможно, вы правы, – ответил молодой купец. – Да будет мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы предпочитаете во всех их деяниях усматривать благие намерения. И все же, как правило, люди плохи; разве вы не пришли к тому же убеждению?

– Именно потому, что я не пришел к такому убеждению, я охотно думаю о людях хорошее, – ответил тот. – Со мной было так же, как с вами. Я жил каждодневными заботами; мне пришлось наслушаться много плохого про людей, самому на себе испытать много дурного, и я начал считать всех людей злыми.

Но я подумал, что Аллах – столь же справедливый, сколь мудрый, – не потерпел бы на нашей прекрасной земле порочного рода человеческого. Я начал размышлять о том, что видел, о том, что пережил, – и что же оказалось? – я помнил только зло, а добро забывал! Я не замечал, когда кто-либо творил дело милосердия, я считал вполне естественным, когда целые семьи вели добродетельную и праведную жизнь. Но всякая весть о злом и дурном западала мне в сердце. Теперь я иными глазами смотрю на окружающее.

Меня радует, когда добрые всходы не так скудны, как я полагал

раньше; я меньше замечаю зло, или же оно не так бросается мне в глаза, и я научился любить людей, научился считать их хорошими и за свою долгую жизнь реже ошибался, когда хорошо отзывался о человеке, чем когда считал его скупым, глупым и безбожным.

На этих словах старца прервал подошедший к нему надсмотрщик над рабами.

– Господин мой, александрийский шейх Али-Бану, – сказал он, – с благосклонностью заметил ваше присутствие в зале; он приглашает вас занять место подле него.

Юноши считали старика нищим и потому немало подивились чести, выпавшей ему на долю, и когда он отошел, чтобы занять свое место около шейха, задержали надсмотрщика, и писец спросил:

– Заклинаю тебя бородою пророка, скажи, кто этот старик, с которым ты говорил и которого так почитает наш шейх?

– Как! – воскликнул надсмотрщик и от удивления даже руками всплеснул. – Вы не знаете этого человека?

– Нет, мы не ведаем, кто он.

– Но ведь я не раз видал, как вы беседовали с ним на улице, и шейх, мой господин, тоже это заметил и только недавно еще сказал: «Должно быть, это достойные юноши, раз такой человек почтил их своей беседой».

– Так скажите же, кто это! – в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец.

– Полноте, вы потешаетесь надо мной, – ответил надсмотрщик. – В этот покой допускаются только по приглашению, а сегодня старик просил меня узнать у шейха, не соизволит ли шейх разрешить привести сюда несколько юношей, и Али-Бану повелел ему передать, что он может располагать его домом.

– Не оставляйте нас дольше в неведении! Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек, мы с ним случайно встретились и заговорили.

– В таком случае вы можете почитать себя счастливыми: вы говорили с прославленным ученым мужем, и теперь все присутствующие чтут вас и завидуют вам. Это не кто иной, как Мустафа, ученый дервиш.

– Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа,

написавший много ученых книг, побывавший в далеких странствиях во всех частях света? Мы беседовали с Мустафой? И беседовали так, словно он нам равный, без должной почтительности?

Юноши все еще вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой прославленный старец удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошел надсмотрщик над рабами и пригласил их следовать за собой к шейху, который желал с ними поговорить.

У юношей екнуло сердце. Ни разу еще не говорили они со столь знатным человеком даже наедине, не то что в таком многолюдном обществе. Однако, не желая показаться глупцами, они взяли себя в руки и последовали за надсмотрщиком. Али-Бану восседал на роскошной подушке и кушал шербет. По правую руку от него, на дорогой подушке сидел старик в своей убогой одежде, скрестив на богатом ковре персидской работы ноги в жалких сандалиях, но его благородная голова, его взгляд, полный достоинства и мудрости, свидетельствовали, что его место поистине рядом с таким человеком, как шейх.

Шейх был очень хмур, а старик, казалось, старался утешить и ободрить его. В том, что их позвали пред очи шейха, юноши тоже усмотрели хитрость старика, вероятно, думавшего, что беседа с ними, может быть, разгонит тоску Али-Бану.

– Приветствую вас, о юноши, – сказал шейх, – приветствую вас в доме у Али-Бану. Мой старый друг, что сидит здесь, заслужил мою благодарность, приведя вас сюда; но я немножко сердит на него за то, что он не привел вас ко мне раньше. Который же из вас писец?

– Я, о господин! Рад услужить вам, – сказал молодой писец, скрестив руки на груди и низко кланяясь.

– Итак, вы очень охотно слушаете сказки и охотно читаете книги с прекрасными стихами и изречениями?

Юноша покраснел и ответил:

– О господин! Я не знаю более приятного развлечения и охотно провожу так свой досуг. Это обогащает ум и коротает время. Но у каждого свой вкус, и я, конечно, не осуждаю того, кто...

– Знаю, знаю, – перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго.

– А ты кто? – спросил он.

– Господин, я работаю подручным у лекаря и сам уже врачую больных.

– Так, – молвил шейх. – Так вот он, любитель хорошо пожить! Вам бы попить и повеселиться с добрыми друзьями? Не правда ли, я угадал?

Юноша был пристыжен, он чувствовал, что его выдали и что старик, должно быть, пересказал и его слова. Все же он собрался с духом и ответил:

– О да, господии, я считаю одной из житейских радостей возможность скоротать время с хорошими друзьями. К сожалению, кошелька моего хватает только на то, чтобы предложить друзьям арбузы и другое столь же дешевое угощение; однако это не мешает нам веселиться, и можно себе представить, насколько бы веселее мы были, будь у меня побольше денег.

Смелый ответ пришелся по вкусу шейху, и он не мог удержаться от смеха.

– А который же из вас – купец? – продолжал он расспросы.

Молодой купец ответил:

– Я вижу, о повелитель, что старец, дабы развлечь вас, пересказал вам все наши глупости. Если ему удалось развеселить вас, я рад, что послужил вам утехой. Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая так же пришлась бы мне по душе. Но не подумайте, о повелитель, что я порицаю вас, ежели вы...

– Довольно, не продолжайте! – молвил шейх, улыбаясь и подняв руку. – Вы хотите сказать: каждому свое. Но там я вижу еще одного. Вы, верно, тот, что стремится к странствиям? Кто вы?

– Я художник, о господин, – ответил юноша, – я расписываю красивыми видами стены покоев или изображаю их на холсте. Поглядеть чужие края – моя заветная мечта, там можно повидать много чудесных местностей и потом воспроизвести их, а как правило – в рисунке виденное всегда выходит красивей, чем то, что выдумал сам.

Шейх смотрел на статных юношей, и взгляд его был строг и угрюм.

– Когда-то у меня тоже был любимый сын, – сказал он, – теперь

он был бы того же возраста, что и вы. Вы бы могли быть ему товарищами и спутниками, и все ваши желания удовлетворялись бы сами собой. С одним он читал бы, с другим внимал музыке, с третьим пировал бы и веселился с друзьями, а с художником я отпустил бы его в прекрасные страны и был бы спокоен, что он возвратится домой. Но Аллах судил иначе, – я подчиняюсь его воле и не ропщу. И все же в моей власти исполнить ваши желания, чтобы вы с радостным сердцем покинули дом Али-Бану. Вы, мой ученый друг, – продолжал он, обращаясь к писцу, – отныне будете жить у меня и ведать моими книгами. Вы можете, ежели захотите, приобретать все, что сочтете стоящим; единственной вашей обязанностью будет рассказывать мне то интересное, что вы вычитаете в книгах. Вы же, любитель веселых пиров с друзьями, будете ведать в моем доме увеселениями. Сам я, правда, живу уединенно и безрадостно, но мой долг и сан требуют, чтобы время от времени я созывал многочисленных гостей. Вы будете распоряжаться всем вместо меня и, когда захотите, приглашать своих друзей и, само собой, угощать их кой-чем получше арбузов. Купца я, правда, не могу отвлекать от его дела, приносящего ему деньги и почет; но каждый вечер, молодой мой друг, в вашем полном распоряжении будут мои танцовщики, певцы и музыканты. Наслаждайтесь игрою и танцами всласть. А вы, – обратился он к художнику, – должны повидать чужие края, дабы опыт придал остроту вашему зрению. Мой казначей выдаст вам для первого странствия, к которому можете приступить завтра же, тысячу золотых, двух лошадей и раба. Отправляйтесь, куда влечет вас сердце, и зарисуйте для меня то прекрасное, что увидите.

Юноши не могли опомниться от изумления, онемели от радости и благодарности. Они хотели облобызать пол у ног великодушного шейха, но он не допустил этого.

– Благодарите не меня, – сказал он, – а мудрого мужа, мне о вас поведавшего. Знакомством с четырьмя такими веселыми юношами, как вы, он меня тоже порадовал.

Но и дервиш Мустафа отклонил благодарность юношей.

– Вот видите, – сказал он, – никогда нельзя судить слишком поспешно: разве я преувеличивал, говоря о благородстве шейха?

– Послушаем последнего раба, из тех, что я отпускаю сегодня на волю, – прервал Али-Бану, и юноши направились на свои места. Теперь встал тот молодой невольник, что привлек всеобщее внимание ростом, красотой и мужественным взглядом; он поклонился шейху и звучным голосом начал так:

[История Альмансора](#)

[*] – Фирман – указ.

[**] – Английское ругательство, обозначающее: проклятие.

[***] – Филидор (1726–1795) – французский композитор и шахматист.

    

 Загрузка...